

Ю. Буйда Химич

Сергея Сергеевича Химича все считали очень нерешительным человеком, а некоторые вдобавок – человеком в футляре, вроде учителя Беликова из чеховского рассказа. Он едва-едва вытянул первый год в качестве штатного преподавателя химии, и в конце концов директор школы предложил ему прекратить мучить себя и учеников и перейти в лаборанты. Нисколько не обидевшись, но даже с радостью Сергей Сергеевич согласился и новый учебный год начал в примыкавшей к кабинету химии узкой комнате, уставленной шкафами, стеллажами и столиками, колбами, штативами и горелками. А учительское место заняла юная красавица гречанка Азалия Харитоновна Керасиди, в которую все сразу влюбились и между собой стали называть просто Ази. Гибкая, тоненькая, подвижная, смуглая, с изогнутыми, как ятаганы, темными бровями и темно-зелеными блестящими глазами, она отлично справлялась с учительскими обязанностями, заставив всех тотчас забыть об этом увальне и недотепе Химиче, который прославился медлительностью, нерешительностью, какой-то вязкостью, если даже речь шла о самых заурядных бытовых проблемках. Прежде чем ответить на вопрос, сколько будет дважды два, он и то держал паузу, задумчиво мычал и только после этого очень неуверенным тоном выдавливал из себя: "Пять". Из дома в школу он в любое время года ходил одним и тем же однажды выбранным путем, хотя значительная часть его была ужасно неудобна: глинистая тропинка между оградами огородов и довольно глубоким оврагом, тянувшимся параллельно железнодорожной насыпи. Тропинка выводила к переезду, который для Сергея Сергеевича был мучительнейшей преградой на пути к школе. То и дело сверяясь с самодельным расписанием, он ждал, когда же пройдет московский скорый, чтобы, пропустив поток автомобилей, успеть юркнуть через переезд перед самым носом почто-во-багажного. Опоздать к началу урока или попасть под поезд – эту дилемму он решал ежедневно, обливаясь потом, нервничая и доводя себя до тяжелой головной боли и болезненной одышки. Но изменить однажды и навсегда избранный маршрут – это ему и в голову, видимо, не приходило.

Ази посмеивалась над его страстью к порядку в лаборатории. Ну, скажем, на колбе с соляной кислотой была наклеена большая квадратная бумажка с надписями одна под другой: "Кислота соляная", "Хлористоводо-родная кислота", "Раствор хлористого водорода в воде" и наконец – "HCl". Когда по плану урока на столах в кабинете появлялись газовые горелки, Сергей Сергеевич места себе не находил: он не только подробнейше инструктировал учеников, как пользоваться опасным прибором, но и класса не покидал, пока не завершится опыт.

— Как бы чего не случилось? – подначивала его с улыбкой Ази.

В ответ он лишь пожимал плечами и отворачивался.

Однажды Ази попросила его принести что-то со школьного чердака. Сергей Сергеевич замер в нерешительности и наконец пробормотал:

- Да... но я никогда там не был... не люблю, заходить в незнакомые подвалы и на чердаки... извините, Азалия Харитоновна...

Ази расхохоталась и, махнув рукой, послала на чердак расторопного старшеклассника, которому завидовали все мальчишки, мечтавшие исполнить любое распоряжение, любую самонаименшую просьбу красавицы Ази, даже если бы это было сопряжено со смертельным риском.

Тем же вечером она вошла в лабораторию, села на стул и, закинув ногу на ногу и закутив тонкую сигарету, кивнула на томик Чехова, лежавший между колбами и пробирками:

- Человек в футляре читает "Человека в футляре"? Вы извините, Сергей Сергеевич, но я слыхала, вас многие так называют...

- Глитай абож паук, – пробормотал он, продолжая при помощи ерша мыть колбу в раковине.

- Что? Какой паук? – растерялась Ази.

— Вы, наверное, давно не перечитывали этот рассказ, – сказал он.

Вытряхнув последнюю каплю из колбы и поставив ее в сушилку, он сел напротив Ази и, поправив очки, продолжал тем же бесстрастным тоном:

- Перечитайте, Азалия Харитоновна. Там краснощекие, чернобровые, вечно хохочущие здоровые люди зверски травят несчастного одинокого человека, который ничуть не лучше, но и ничуть не хуже их. Да, не лучше, но и не хуже. – Он помахал ладонью, отгоняя от лица табачный дым. – От скуки его пытаются женить на краснощекой, чернобровой хохлушке, брат которой ненавидит человека в футляре и сравнивает его с пауком – "абож паук". Между ними случается ссора, после которой человек в футляре умирает. – Сергей Сергеевич неторопливо открыл книгу, полистал, кивнул. – Вот послушайте: "Признаюсь, – (это рассказчик истории говорит, не Чехов), – хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие". – Посмотрел на нее поверх очков и продолжал: – "Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая..." Видите ли, человек в футляре оказался ни при чем. Поэтому... – Он кашлянул и отвернулся. – Поэтому или не поэтому, все равно, но я прошу вас не называть меня человеком в футляре. И не лезть ко мне в душу, даже если вам вдруг стало скучно! – Посмотрел на нее в упор. – Я же не пристаю к вам, правда? Или я плохо работаю? Так и скажите. Но не лезьте, понимаете? – Он закашлялся, зажал рот платком и промычал: – Уходите, пожалуйста... Не надо... Не надо же! Прошу вас!

Ошеломленная Ази вскочила, отпрянула к двери, не спуская изумленного взгляда с Химича и не зная, куда сунуть погасшую сигарету, – вдруг, хлопнув дверью, бросилась бежать, опомнилась в тупике, резко обернулась – коридор был пуст. Она дрожала, хотелось плакать, хотелось вернуться к этому неуклюжему косноязычному очкарику и все-все ему объяснить... Но что объяснить? Такое с нею случилось впервые в жизни. Это было что-то

загадочное, даже, может быть, неприятно-таинственное, тягостное, во всяком случае. Ази на цыпочках пробежала по коридору, спустилась во двор и, всхлипывая, помчалась домой.

Летом из-за болезни матери Ази не удалось поехать к морю, и она целыми днями пропадала на узких песчаных пляжах Преголи и Лавы, окруженная поклонниками, демонстрировавшими ей свои мускулы, умение плавать и бегать за мороженым.

Иногда все и вся ей надоедало, и она после завтрака отправлялась подальше от людных пляжей – на Детдомовские озера, где можно было бестревожно мечтать под тишайший шелест ивняков, сонно наблюдая за грубоватыми желтыми кувшинками, сбивавшимися в плоские стада на темной, почти черной поверхности воды. Озера тянулись вдоль Преголи цепочкой, соединяясь с рекой узкими кривыми протоками, скрытыми от глаз теми же густыми ивами.

Ази бродила от озера к озеру, собирая мелкие белые и голубые цветы, или лежала в высокой траве, глядя широко открытыми зеленовато-кариими глазами на небо, по фальшивой плоскости которого изредка проплывали кое-как вылепленные белые облака. Над нею с жестяным треском проносились стрекозы или бесшумные стайки бабочек-брюквенниц...

Добравшись до последнего озера, она увидела знакомую громоздкую фигуру Сергея Сергеевича, удившего рыбу с берега, и, поколебавшись, – а сколько времени прошло с того дня! – подошла и села рядом.

- Вот уж не думала, что вы страстный рыбак, – сказала она. – У вас такой хищный прищур, когда вы смотрите на поплавок...

- Я не люблю ловить рыбу, – с вялой улыбкой сказал Сергей Сергеевич. – Просто здесь хорошо сидится. Безлюдно, тихо, задумчиво. А иногда я просто ложусь в траву и сплю...

- Спите? Но... – Она вдруг запнулась, не зная, что тут можно сказать. – Это, наверное, хорошо...

Он с любопытством взглянул на нее и снова устался на поплавок.

- В общем, да. Одно плохо: в сновидениях слишком много людей... в том числе неприятных, от которых невозможно избавиться, потому что таковы, видимо, законы сновидений... – Он тихо засмеялся. – Бог мой, какую я чушь несу, вы уж извините!

- Что вы, Сергей Сергеевич!

- Можете называть меня просто Химичем – я привык. – Пожал плечами. – В сновидениях ты вроде бы становишься свободным, абсолютно свободным, а на самом деле нет худшего рабства, чем сновидения с их людьми...

- Остается быть царем в жизни. – Ази вдруг испугалась, что он воспримет ее слова как намек. – Кажется, клюет!

- Нет, показалось. – Он снял соломенную шляпу и взъерошил соломенные волосы. – В жизни... с кем не хочется знаться – не знайся... Разве нет?

- А давайте искупаемся! – Ази вскочила и одним махом сбросила платье, оставшись в белом купальнике. – Давайте, не бойтесь!

Он усмехнулся:

- А я и не боюсь.

Она терпеливо ждала, пока он, по обыкновению своему не торопясь, снимет рубашку, брюки, носки. У него было плотное, полноватое белое тело с густыми рыжими волосами на груди, руках и ногах. В два прыжка он оказался у воды и с шумом обрушился в озеро.

Ази расхохоталась.

— Тюленище! – закричала она. – Сергей Сергеевич, вы тюленище!

Химич вынырнул и мощными гребками погнал свое тюленьё тело вперед. Ази с удивлением следила за ним: такой стильный кроль она видела только по телевизору. Мужчина обогнул озеро, перевернулся на спину и в несколько толчков подплыл к берегу, уткнувшись макушкой в песок.

- Вот это класс! – сказала Ази, присаживаясь рядом с ним на корточках. – Где вы так научились?

Он выбрался на берег, тяжело дыша, вяло взмахнул руками.

- Я же родился на Волге, да еще и в спортшколе ходил несколько лет. А потом – бенц, и все. – Откинул волосы со лба, виновато улыбнулся девушке: – Сердце, видите ли... Из-за сердца даже в армию не взяли.

— Господи, так вам нельзя же! Я дура, Сергей Сергеевич!

Он с удивлением посмотрел на расстроенную девушку:

- Вы серьезно это? Бросьте, Ази, не надо. Читайте, что я вам ничего не говорил. Да и не рассказывайте про это никому, пожалуйста... Вы же хотели искупаться, Ази, так идите же, вода – чудо!

Она вдруг сообразила, что он впервые называет ее ласкательным прозвищем, а не по имени-отчеству, и чуть не разревелась.

Химич стоял перед нею в растерянности.

- Ази... Что-нибудь случилось? Опять я что-нибудь не так... Она замотала головой: нет.

- Хотите, я научу вас плавать по-настоящему? Нет? Ази... чего ж вы хотите?

- Не знаю... – Она села на песок, перевела дух. – А что еще вы видите во сне?

Он наморщил большой лоб.

- Рыбы снятся. С красивыми женскими животами. – Надел очки. – И много лишних людей. Так что же с вами, Азалия Харитоновна? – Голос его звучал доброжелательно, но суховато. – Чего вы хотите?

Она посмотрела на него с жалобной улыбкой:

- Поцелуйте меня, Сергей Сергеевич, пожалуйста. Не то я разревусь.

Она вернулась домой очень поздно, но мать еще не спала.

- Что с тобой, Ази? – Мать мучилась одышкой. – От тебя веет такой свежестью, как будто ты счастлива...

- А я и впрямь счастлива, ма! Я сегодня влюбилась, полюбила и стала женщиной!

Мать посмотрела на нее – Ази угадала ее взгляд в темноте.

- И кто же твой герой?

- Ма! Ты же сама сто раз говорила, что за героев только дуры выходят.

- Так вы еще и пожениться решили?

- Да. Он не герой, он – любимый, ма! Честное слово.

Их свадьба, конечно же, стала сенсацией для полусонного городка, прочившего Ази в мужа человека ну уж никак не ниже генеральского чина. А тут, подумать только, – невоеннообязанный, годный к нестроевой, как записано в его военном билете. В решении красавицы видели даже не каприз, но – темную тайну и уж никак не любовь.

И спустя годы – а прожили они вместе около шести лет – Ази каждый день открывала странного своего мужа, как неведомую, загадочную планету или страну – с городами и водопадами, ночными кошмарами и бездонными морями. Как большинству русских людей, мир представлялся Сергею Сергеевичу хаотическим сцеплением случайностей, и чтобы хоть как-то упорядочить мир и обезопасить себя и близких (через год у них родилась девочка), Химич прибегал одновременно к двум средствам – медлительности и воображению.

Он не торопился открыть дверь – не из страха или трусости – лишь потому, что пытался перебрать, кажется, все возможные варианты встречи с гостем или гостями: это могли быть соседи, птицы, Козебьяка, Дон Кихот или преодолевшая тысячи километров и иссохшая за время пути кобра, утратившая яд и жаждавшая лишь покоя у ног последнего властелина...

Получив письмо, он не спешил распечатывать конверт, упорно стремясь предугадать содержание послания – каждое казалось ему некоей вестью, иначе зачем бы кому-то тратить время и чернила? Сам он никому писем не писал, ибо, в чем он был убежден, не владел словом, которое помогло бы кому-нибудь в беде, исцелило душу, остановило злодея или вознесло праведника. Поначалу Ази это забавляло, но вскоре и она, словно заразившись от мужа, стала относиться к письмам, вообще к словам столь же бережно, пугая молчанием даже собственную мать.

- Может, тебе плохо? – тревожилась старая гречанка. – Ты стала такая молчаливая...

- И счастливая.

Мать лишь покачивала головой: бессловесное счастье – это было что-то новенькое в мире, зачатом в слове и словом.

Сергей Сергеевич по-прежнему много спал. Однажды он сказал Ази: "Во сне легче переносить счастье. – И с усмешкой добавил: – И потом, во сне я худею".

Он все чаще оказывался на больничной койке: давало знать о себе больное сердце. Однажды оно остановилось.

Ази похоронила его с нераспечатанным письмом, подсунутым под скрещенные на груди руки. Это письмо написала она, узнав о его смерти. Никто не знает, что за весть она послала любимому в вечность, но когда кто-то из коллег в учительской вполголоса предположил, что за миг до смерти Сергей Сергеевич думал не: я умираю или не умираю? – но: умирать мне или не умирать? – она вдруг стукнула кулаком по столу и закричала, вскинув лицо к потолку и срывая голос:

- Не смейте! Не смейте так! Вы его не знали и знать не хотели! А я знала... я знаю его! И ненавижу вашего Чехова! Не-на-ви-жу! Не-на-ви-жу...

Вячеслав Пьецух НАШ ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Учитель древнегреческого языка Беликов, в сущности, не знал, чего он боялся, и умер от оскорбления; учитель русского языка и литературы Серпеев отлично знал, чего он боялся, и умер оттого, что своих страхов не пережил. Беликов боялся, так сказать, выборочно, а Серпеев почти всего: собак, разного рода привратников, милиционеров, прохожих, включая древних старух, которые тоже могут походя оболгать, неизлечимых болезней, метро, наземного транспорта, грозы, высоты, воды, пищевого отравления, лифтов, – одним словом, почти всего, даже глупо перечислять. Беликов все же был сильная личность, и сам окружающих застрашал, постоянно вынося на? люди разные пугательные идеи; Серпеев же был слаб, задавлен своими страхами и, кроме как на службу, во внешний мир не совал носа практически никогда, и даже если его посылали на курсы повышения квалификации, которыми простому учителю манкировать не дано, он всегда исхитрялся от этих курсов как-нибудь увильнуть. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте.

Уже четырех лет от роду он начал бояться смерти. Однажды малолетнего Серпеева сводили на похороны дальней родственницы, и не то чтобы грозный вид смерти его потряс, а скорее горе-отец потряс, который его уведомил, что-де все люди имеют обыкновение умирать, что-де такая участь и Серпеева-младшего не минует; обыкновенно эта аксиома у детей не укладывается в голове, но малолетний Серпеев ею проникся бесповоротно.

Ребенком он был, что тогда называлось, интеллигентным, и поэтому его частенько лупили товарищи детских игр. Немудрено, что во всю последующую жизнь он мучительно боялся рукоприкладственного насилия. Стоило ему по дороге из школы домой или из дома в школу встретить человека с таким лицом, что, кажется, вот-вот съездит по физиономии, съездит ни с того ни с сего, а так, ради простого увеселения, как Серпеев весь сразу мягчал и покрывался холодным потом.

Юношей, что-то в начале 60-х годов, он однажды отстоял три часа в очереди за хлебом, напугался, что в один прекрасный день город вообще оставят без продовольствия, и с тех пор запасался впрок продуктами первой необходимости и даже сушил самостоятельно сухари; автономного существования у него всегда было обеспечено что-нибудь на полгода.

В студенческие времена в него чудом влюбилась сокурсница по фамилии Годунова; в объяснительной записке она между делом черкнула «ты меня не бойся, я человек отходчивый» и вогнала его во многие опасения, поскольку, значит, было чего бояться; действительно, из ревности или оскорбленного самолюбия Годунова могла как-нибудь ошельмовать его перед комсомольской организацией, плеснуть в лицо соляной кислотой, а то и подать на алименты в народный суд, нарочно понеся от какого-нибудь третьего человека; с тех пор он боялся женщин.

Впоследствии мир его страхов обогащался по той же схеме: он терпеть не мог подходить к телефону, потому что опасался ужасающих новостей и еще потому что, было время, ему с месяц звонил неопознанный злопахатель, который спрашивал: «Это контора ритуальных услуг?» – и внимательно дышал в трубку; он боялся всех без исключения звонков в дверь, имея на то богатейший выбор причин, от цыган, которые запросто могут оккупировать его однокомнатную квартиру, до бродячих фотографов, которых жаль до слезы в носу; он боялся всевозможных повесток в почтовом ящике, потому что его однажды по ошибке вызвали в кожно-венерологический диспансер и целых два раза таскали в суд; он боялся звуков ночи, потому что по ночам в округе то страшно стучали, то страшно кричали, а у него не было сил, если что, поспешить на помощь. Между прочим, из всего этого следует, что его страхи были не абстракциями типа «как бы чего не вышло», а имели под собой в той или иной степени действительные резоны.

То, что он боялся учеников и учителей, особенно учителей, – это, как говорится, само собой. Ученики свободно могли отомстить за неудовлетворительную отметку, чему, кстати сказать, были многочисленные примеры, а учителя, положим, написать анонимный донос, или оскорбить ни за что ни про что, или пустить неприятный слух; по этой причине он с теми и другими был прилично подобоострастен.

В конце концов Серпеев весь пропитался таким ужасом перед жизнью, что принял целый ряд конструктивных мер, с тем чтобы, так сказать, офутляриться совершенно: на входную дверь он навесил чугунный засов, а стены, общие с соседями, оббил старыми одеялами, которые долго собирал по всем родственникам и знакомым, он избавился от радиоприемника и телевизора из опасения, как бы в его скорлупу не вторглась апокалипсическая информация, окна занавесил ситцевыми полотнами, чтобы только они пропускали свет, на службу ходил в очках с незначительными диоптриями, чтобы только ничего страшного в лицах не различать. Придя из школы, он обедал по-холостяцки, брал в руки какую-нибудь светлую книгу, написанную в прошлом столетии, когда только и писались светлые книги, ложился в неглиже на диван и ощущал себя счастливым без примера, каких еще не знала история российского человечества.

Теперь ему, собственно, оставалось позаботиться лишь о том, как бы избавиться от необходимости ходить в школу и при этом не кончить голодной смертью. Однако этот вопрос ему казался неразрешимым, потому что он был порядочным человеком, и ему претила мысль оставить детей на тех злых шалопаев, которые почему-то так и льнут к нашим детям и которые, на беду, составляли большинство учительства в его школе; кроме того, он не видел иного способа как-нибудь прокормиться. Со временем эта проблема решилась сама собой. Как-то к нему внезапно явилась на урок проверяющая из городского отдела народного образования, средних лет бабенка с приятным лицом, насколько позволяли увидеть его диоптрии. К несчастью, то был урок на самовольную тему «Малые поэты XIX столетия», которой Серпеев подменил глупую плановую тему, что он вообще проделывал более или менее регулярно. К вящему несчастью, Серпеев был не такой человек, чтобы немедленно перестроиться, да и не желал он перестраиваться на виду у целого класса, и, таким образом, в течение тридцати минут разговор на уроке шел о первом декаденте Минском, который в свое время шокировал московскую публику звериными лапами, привязанными к кистям рук, о Якубовиче, авторе «на затычку», о самоубийце Милькееве, пригретом Жуковским из непонятных соображений, и особенно некстати было процитировано из Крестовского одно место, где ненароком попался стих «И грешным телом подала» – не совсем удобный, хотя и прелестный стих.

Проверяющая была в ужасе. На перемене она с глазу на глаз честила Серпеева последними словами и в заключение твердо сказала, что в школе ему не место. Но потом она присмотрелась к ненормально забитому выражению его глаз, подумала и спросила:

– Послушайте: а может быть, вы чуточку не в себе?

И тут Серпееву, с эффектом внезапного электрического разряда, пришло на мысль, что это они все чуточку не в себе, а он-то как раз в себе. Через несколько минут он окончательно в этом мнении укрепился, когда вышел из школы и возле автобусной остановки увидел пьяного учителя рисования с настоящей алебардой и слепым голубем на плече.

Дня два спустя от директора школы последовало распоряжение подать заявление об уходе. Серпеев заявление подал, и у него как гора с плеч свалилась, до такой степени он почувствовал себя выздоровевшим, что ли, освобожденным. Вот только детей было жаль, особенно после того, как к нему в вестибюле подошел середнячок Парамонов и сказал, что он не представляет себе жизни без его уроков литературы.

– Без уроков русского языка, – далее сказал он, – я ее себе очень даже представляю, но литература – это совсем другое.

Парамоновские слова натолкнули Серпеева на идею, так сказать, внешкольного курса словесности, который он мог бы вести для особо заинтересованных учеников хотя бы у себя дома. Таким образом, этическая сторона его отступления была обеспечена: человек пятнадцать-двадцать ребят из старших классов стали приходить к Серпееву дважды в неделю, и он по-прежнему учил их, если можно так выразиться, душе, опираясь главным образом на светлую литературу XIX столетия.

Знал Серпеев, чего боялся, да не до логического конца. Месяца через два после начала занятий, в назначенный день недели, к нему явился один середнячок Парамонов и сообщил, что прочие не придут.

– Почему?.. – спросил его Серпеев в горьком недоумении.

– Потому что нам велели на вас заявление написать. Что вы на дому распространяете чуждые настроения. Конечно, кто же после этого к вам придет!

– Но ведь ты-то пришел, – с надеждой сказал Серпеев.

– Я человек конченный, – ответил Парамонов, неизвестно что имея в виду, откланялся и ушел.

Словом, случилось худшее из того, чего только мог ожидать Серпеев, – его вот-вот должны были арестовать и засадить в кутузку за подрывную агитацию среди учащейся молодежи. Он сорок восемь часов подряд ожидал ареста, а на третьи сутки с ним приключилась сердечная недостаточность, и он умер.

В глазах коллег и кое-каких знакомых он ушел из жизни с репутацией просто несчастного человека, и это обстоятельство заслуживает внимания: сто лет тому назад учителя Беликова с большим удовольствием провожали в последний путь, потому что держали за вредную аномалию, а в конце XX столетия учителя Серпеева все жалели. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте.

Опубликовано в журнале:

[«Знамя» 2002, №8](#)

Вячеслав Пьецух

Крыжовник

Рассказ

Сейчас уже никто не знает, что такое комсомольский работник, а еще лет двадцать тому назад каждой собаке было известно, что это целый подвид молодого или не то чтобы молодого человека, прикосновенного к высшим сферам, которого отличают некая затаенная пассионарность, хорошее лицо и вечный багряный значок на лацкане пиджака. Бог весть чем объясняется такая скоротечность понятий, из-за которой у нас долго не живут толковые словари.

Так вот Саша Петушков был комсомольский работник. С молодых ногтей он чувал в себе какое-то смутное призвание, похожее на беспричинное беспокойство, которое в счастливые часы нашептывало ему, что в будущем он точно выбьется из ряда обыкновенного и достигнет больших высот. Определенно Саша не мог сказать, какое именно поприще его ожидает, и воображал себя то мыслителем, прославившимся на весь мир, то выдающимся дипломатом, то изобретателем вроде Эдисона или законодателем вроде Сперанского, которые тоже вышли из ничего. Впрочем, не сказать, чтобы Саша Петушков вышел из ничего: мать его была переводчицей с португальского, отец вел целую тему у Королева¹, а дед занимался селекцией двудольных и был едва ли не зачинателем кактусизма в СССР.

Одним словом, Саша Петушков не особенно удивился, когда еще в девятом классе его выбрали вожаком школьной комсомольской организации и перед ним открылись соблазнительные пути. Действительно, и двух лет не прошло, как его пригласили верховодить комсомолом на пуговичную фабрику имени Бакунина, после отозвали в Свердловский районный комитет и, наконец, определили в центральный аппарат, который тогда располагался при пересечении нынешних Лубянского проезда и улицы Маросейка, в беспринципно-конструктивистском здании на углу. Оклад ему положили в сто пятьдесят рублей; по Сашиним годам это были такие большие деньги, что он поначалу точно очумел и с первой же полочки поужинал в ресторане и купил матери французские сапоги.

В мае 1987 года Сашу Петушкова включили в состав комиссии, которую посылали ревизовать областную комсомольскую организацию в Магадан. Он сшил себе мешочек из чертовой кожи для командировочных, который хитроумно пришил к брюкам с внутренней стороны, одолжил у приятеля фотоаппарат, самолично собрал балетку² и за два дня до срока был готов отправиться хоть куда.

¹ Главный конструктор космических кораблей при генеральных секретарях (*здесь и далее прим. автора*).

² Миниатюрный фибровый чемодан.

В Магадан комиссия прилетела в середине дня, разместилась в обкомовской гостинице и разбрелась до обеда, после чего ожидался окончательный инструктаж. Но на обед Саша не явился, и на инструктаж не явился, и даже ночевать в гостиницу не пришел; он вообще пропал, и само имя его всплыло только в девяносто втором году. Приключился же с ним вот какой жестокий и неожиданный анекдот... Покинув обкомовскую гостиницу, он отправился прогуляться по городу, который в нашей национальной традиции овеян легендами о бешеных деньгах, критической плотности уголовного элемента на квадратный километр площади, диких загулах золотодобытчиков, японской контрабанде и гибельных лагерях. На поверку оказалось — город как город, и проспект Ленина на месте, и телевышка торчит, где положено, и лица на улицах попадаются не ужаснее, нежели встретишь, скажем, у Большого театра или в Кременчуге. Разве что в магазинах взаправду торговали японскими зонтиками, за которыми публика в столице убивалась по очередям, телефонный звонок на материк стоил один целковый минута, и на каждом шагу торговали свежей горбушей по рубль двадцать за килограмм. Разве что темные сопки, окружавшие город, сообщали ему гнетущий колорит; стоя на высоком гребне над портом, Саша Петушков долго рассматривал полузатонувшие суда у пирсов, истлевшие до шпангоутов, вороненую рябь бухты Нагаева, какой-то скалистый остров, стеной поднимавшийся из воды, за ним Охотское море, которое он угадывал в сизой дымке, а там Камчатка, Тихий океан и где-то в невообразимом далеке — Америка в качестве неизбывного геополитического врага.

В общем, прогулка навеяла Саше романтическое настроение, и ему захотелось как-то это настроение закрепить. То есть он решил попросту выпить водки и зашел в первый попавшийся ресторанчик, располагавшийся в приземистом здании той типовой постройки, что в Москве употребляются под приемные пункты стеклотары и продовольственные склады. Устроившись у окна, он заказал подавальщице¹ выпить и закусить.

В ресторане, действительно, гуляла компания золотодобытчиков с прииска “Партизанский”, хотя сезон был в разгаре, и в такое время бригадам бывает не до гульбы. После выяснилось, что у мониторщика Белова днем раньше родился сын и две бригады плюс смена съемщиков, несмотря ни на что, отправились отмечать это событие в Магадан. Нагоняй от начальства был неизбежен, и золотодобытчики отличались в ресторане, словно в последний раз.

Саша Петушков уже выпил графинчик водки, съел порцию экзотической цубы² с солью и остался ею недоволен, когда компания затащила его к себе. Справедливости ради заметим, что он не особенно шибко сопротивлялся, поскольку ему был остро интересен этот мужественный народ, который работает весь световой день, пугает медведей свистом, питается новозеландской бараниной и картошкой за двадцать пять целковых ведро, сплошь пропах детей³ и употребляет вместо водки питьевой спирт.

Этот самый питьевой спирт, видимо, был противопоказан столичным штучкам, ибо примерно через час времени Саша уже неотчетливо понимал, где он, с кем он, что с ним происходит и почему. Он ел деревянной ложкой кетовую икру, зачем-то выдавал себя за корреспондента газеты “Комсомольская правда”, и его неудержимо клонило в сон.

Очнулся он в Ягодном, чуть ли не в пятистах километрах от Магадана, на автобусной остановке, без бумажника и часов, но зато с авоськой⁴ в руках, из которой торчала огромная горбуша, полбутылки питьевого спирта, почему-то отрез китайского ситца в мелкий горошек и пачка папирос “Беломорканал”.

¹ Термин, употреблявшийся в номенклатурных кругах, где почему-то не пришлось ко двору слово “официант”.

² Морской моллюск.

³ Жидкость от комаров.

⁴ Таково название сетчатой сумки, происходившее от “авось”. Налицо редчайший случай трансформации наречия в существительное, какого не знают прочие языки.

Было раннее утро; солнце сияло чисто, не по-материковому, пахло холодом, в большой луже с бензиновыми разводами купались воробьи, голову ломило, напротив стоял мужик такого дикого вида, что Саше захотелось снова закрыть глаза. Это был пожилой приземистый человек с несоразмерно большой головой, загоревший до почернения, в выцветшей робе некогда синего цвета и в грубых эковских башмаках с заклепками по бокам. Он жадно смотрел на авоську Петушкова — и, верно, давно смотрел, поскольку в его фигуре просматривалась уже некая окаменелость, — приоткрыв пустой рот, в котором поблескивали только два металлических, тоже несоразмерно больших, клыка.

— Скажите, — обратился к нему Саша Петушков, — где это я обретаюсь?..

Мужик сказал.

Сначала Саша не поверил его словам, но потом поверил, и его обуял такой ужас, что он захлебнулся воздухом и на несколько секунд прекратил дышать. Он и тому ужаснулся, что, видимо, из-за дурацкой случайности пришел конец его политической карьере, и тому, что товарищи по комиссии сейчас разыскивают его по всему городу, и что он обретаётся за девять тысяч километров от улицы Маросейка, где еще как-то можно было себя по-человечески оправдать.

Между тем незнакомец подошел к Саше вплотную и, не отрывая взгляда от початой бутылки с питьевым спиртом, спросил, как его зовут, — то ли из желания подольститься, то ли по простоте. Петушков назвал, мужик протянул ему деревянную ладонь и тоже назвал:

— Карл.

— А почему Карл? — простодушно спросил его Саша, которому показалось странным повстречать это глубоко романо-германское имя на Колыме.

— Потому что младший брат у меня — Фридрих.

— Не понял...

— Батя у нас был сильно партийный — чего уж тут не понять!

За разговором они допили остатки спирта и закусили его горбушей, которую за неимением ножа рвали руками, а после молча сидели на разбитой скамейке и просто смотрели вдаль. Черные сопки, со всех сторон торчавшие из-за крыш, навевали Саше Петушкову такое соображение: это тебе не пуговичная фабрика имени Бакунина, это какой-то иной, жестокий и грозный мир. Что-то в нем было не советское, то есть цинично-естественное, нацеленное исключительно на выживание и основанное по преимуществу на борьбе. И то, что потом рассказывал ему новый знакомец Карл, только усиливало это тяжелое подозрение — он случайно ввалился в неведомую и чуждую ему жизнь. В частности, Карл поведал Саше о том, будто бы по всей Колыме бедуют тысячи людей без паспортов, работы и крыши над головой; их называют — бичи¹, не любят, всячески обижают и страшат ими грудных детей. В огромном большинстве случаев это был народ, отсидевший срок за нетяжкое преступление и по разным причинам застрявший на *северах*; так, в компании, к которой принадлежал Карл и его брат Фридрих, была еще не старая женщина Нина Соколова, убившая своего мужа, бывший главный инженер целлюлозного комбината Черникин, посаженный за взятки, и бендеровец то ли по кличке, то ли по фамилии Хитрован. Летом компания жила в заброшенной котельной, что за старым кладбищем, а на зиму перебиралась под землю, поближе к теплосетям, где можно было сносно существовать, даже несмотря на вечную мерзлоту.

¹ Прежде существовало мнение, что “бич” — это аббревиатура от “бывшего интеллигентного человека”, но на самом деле сие понятие происходит от английского существительного “beach” — “берег”; так называли моряков, которым не повезло наняться на судно, которые остались без дела на берегу.

Выслушав этот рассказ, Саша Петушков спросил Карла, точно ли к его компании принадлежит бывший бендеровец, поскольку это было для него так же дико и невероятно, как если бы речь шла об Илье Муромце или сподвижнике Спартака. В ответ Карл предложил Петушкову самому убедиться в истинности его слов, и они отправились в сторону заброшенной котельной, мимо здания горсовета, музыкальной школы, большого

продовольственного магазина, бензозаправки, старого кладбища и какого-то необозримого пустыря. Вскоре, и правда, показалась котельная с выбитыми стеклами, худой крышей, покосившейся трубой на растяжках, и Саша подумал: “Чтобы люди могли жить в этих ужасных условиях, такого в Стране Советов не может быть!”.

Однако же компания бичей оказалась на месте — все пили из банок густо-розовое вино, за исключением бывшего бендеровца Хитрована, который по дряхлости уже отвалился, лежал, скрючившись, на промасленном ватнике и храпел. Это был человек как человек, только одетый в грязные обноски и с колтунами в волосах, а так общее выражение у него было такое же, какое могло быть и у постового милиционера, и у старшего продавца. Тут было в своем роде открытие, поскольку, по Петушкову, бендеровцев, власовцев и троцкистов обязательно должно было отличать что-нибудь вроде шестого пальца, или хвоста, или исключительной волосатости — словом, какой-то звериный знак.

После открытия шли одно за другим; так, оказалось, что бичи практически не едят. Когда Саша не нашелся, что дельного добавить к приветствию, и промямлил:

— А вот мы вам рыбки принесли на закуску! — бывший главный инженер целлюлозного комбината Черникин ему сказал:

— Зря старались, молодой человек, потому что мы давно извлекаем калории из вина. Вот если бы вы принесли две-три бутылочки плодово-ягодного, тогда бы я сказал — да!

Затем оказалось, что бичи — публика, удивительно отважная на язык. Когда Саше Петушкову поднесли уже вторую банку, на четверть наполненную красноватой вонючей жидкостью, он выпил и совсем захмелел, между братьями Карлом и Фридрихом ни с того ни с сего разгорелся спор: первый утверждал, что из-за повышенного содержания витаминов плодово-ягодное вино заключает в себе спасение от бескормицы, второй стоял на том, что коммунисты его выдумали с единственной целью — вконец потравить народ.

— Ведь мы для них — обуза, — отстаивал Фридрих свою позицию, — потому что нас нужно чем-то занять, оприютить и регулярно поить-кормить. А так ты пустил в продажу чистый яд под видом плодово-ягодного вина, и вот тебе решение всех проблем! А зачем, действительно, поить-кормить почти триста миллионов человек, которые не любят воевать, никак не научатся выращивать пшеницу и не могут сделать обыкновенного утюга?!

— Поражаюсь на вас, товарищи! — заметил Саша, едва ворочая языком. — Как вы не боитесь нести такую антисоветчину? А вдруг я, предположительно, донесу...

— А чего нам бояться? — отозвалась на эти слова Нина Соколова и усмехнулась. — Дальше только Камчатка, но там теплей.

Наконец, оказалось, что ягодинские бичи были люди образованные и в некотором роде мыслители, по крайней мере, у них то и дело затевался отвлеченный и въедливый разговор. То они разбирали достоинства и недостатки парламентской республики, то рассуждали о спутниках-шпионах, то спорили о жизни и смерти как о взаимоисключающих составных. Бендеровец Хитрован по этому поводу говорил:

— С другой стороны, кончина приобретает, так сказать, гармонизирующее значение в том случае, если после человека остается хоть что-нибудь. Хоть статья в газете, хоть дом, в котором можно еще долго жить, хоть — я не знаю — самодельный велосипед!..

Черникин ему возражал на это:

— Вот если бы Достоевскому доподлинно было легче помирать, чем его дворнику, — тогда бы я сказал — да! В общем, Сашу Петушкова по-своему очаровали его новые товарищи, ягодинские бичи. На третий день, с утра, ему в голову пришла мысль, что великий Горький вообще не зря воспел тип босяка из идейных соображений в лице знаменитого Челкаша, что силой своего гения он превознес свободного человека, не знающего обывательских страхов и предрассудков, презирающего материальные блага жизни и отрицающего общественную мораль. А уж если Горький превыше всего ставит просвещенную волю, то так оно, следовательно, и есть.

Через две недели он до неузнаваемости исхудал, обгорел на солнце, пообносился и уже подвязывал брюки галстуком, некогда шелковым, алым и дорогим. Но впервые в жизни ему жилось так легко и просто: с утра бичи отправлялись на поиски пустых бутылок, которые потом сдавали приемщику Слободскому, сидевшему в дощатой зеленой будке, крали по мелочам, например, могли унести лист шифера, или белье, вывешенное для просушки, или беремья дров. После на вырученные деньги покупались одна на всех буханка ржаного хлеба и дневная порция плодово-ягодного вина. Бичи возвращались в заброшенную котельную, до самой ночи тянули свое пойло и говорили о том о сем. Славная была жизнь.

Ближе к зиме, когда уже ударили настоящие холода, компания перебралась под землю, устроила на трубах теплосети удобные лежанки из горбыля, наладила освещение посредством консервных банок из-под новозеландской тушенки, в которые заливался краденый солидол, и худо-бедно отсиделась до Дня Победы, когда на Колыме, как правило, устанавливается плюсовая температура, хотя снег еще лежит по распадкам, на водоразделах и в кюветах больших дорог. За это время Саша Петушков совершенно сбичевался и даже по случаю обзавелся чужой справкой об освобождении, вышел в общепризнанные вожжаки своей крошечной соции, переболел острым воспалением легких и еле остался жив. Особо нужно отметить, что той зимой он пережил тяжелый роман с Ниной Соколовой и уже до того допился, что в доказательство любви выколол себе глаз китайским карандашом. С тех пор он носил черную резиновую нащепку на тесемке и получил прозвище по

имени главного героя шестидневной кампании с израильской стороны¹. Со временем он к своему прозвищу привык, но поначалу обижался:

— Ладно бы Нельсон, — говорил он, делая испуганное лицо, — или Кутузов, а то — Даян!

Летом девяностого года Саша Петушков нечаянно столкнулся на автобусной станции со своим бывшим товарищем по работе в Свердловском райкоме комсомола, который теперь возглавлял всю партийную организацию на строительстве Колымского гидроузла в Синегорье, но уже собирался перебираться на материк. Видимо, это был по-настоящему хороший товарищ и бешеной энергии человек, ибо он немедленно затащил Сашу к себе в гостиницу, отмыл и приодел, после помог восстановить паспорт, ссудил деньгами на дорогу, и в конце концов они вместе отбыли с Колымы.

Но на этом приключения Саши Петушкова не закончились, и его ожидало еще много оригинального впереди. Начать с того, что до Москвы он в тот раз не добрался: в Красноярске, где была пересадка с самолета на самолет, ему вдруг стало плохо из-за резкой перемены кислородного режима², он потерял сознание в уборной, с час провалялся под умывальником, и железная птица улетела в первопрестольную без него. Хорошо еще, что при нем оставался паспорт и семь рублей денег, а то хоть снова иди в бичи.

¹ Имеется в виду Моше Даян, военный министр Израиля.

² На крайнем северо-востоке нашего государства содержание кислорода в воздухе примерно на 25% ниже нормы, отчего эти края и облюбовало ОГПУ.

Тут же, в аэропорту Емельяново, Саша набрел на сплошь застекленный шалманчик, зашел, с опаской огляделся по сторонам, боясь опять напасть на компанию золотодобытчиков, взял бутылку плодово-ягодного вина и принялся размышлять. Впрочем, размышлять было особенно не о чем: между Красноярском и Москвой, слава Богу, существовало регулярное железнодорожное сообщение, и добраться до дома легко было, хотя и с некоторыми неудобствами, но без единого гроша в кармане, как это с самого графа Клейнмихеля¹ свободно делалось на Руси.

И десяти минут не прошло, как к Саше присоединился высокий, поджарый субъект, длинноволосый, с нездоровым цветом лица, в пыльнике², надетом на голое тело, в брюках-галифе³ и разбитых кирзовых сапогах. Между ними завязался поначалу пустой разговор, который, однако, имел внушительные последствия; вообще у нас следует опасаться нечаянных разговоров с незнакомцами, особенно в местах, где пьют и закусывают, поскольку они могут оказать влияние на судьбу. Так вот, незнакомец неодобрительно посмотрел на бутылку плодово-ягодного вина, потом на Петушкова, потом сказал:

¹ Петр Андреевич, министр путей сообщения, строитель первых железных дорог в России.

² Плащ из легкого габардина.

³ Форменные штаны, узкие снизу и свободные сверху, названные по имени душителя Парижской коммуны генерала Гастона де Галифе.

— Не понимаю, как это люди могут глушить такую отраву! — сам он налегал на булочку с маком и пил кефир. Саша ответил:

— Как-то уже, вы знаете, все равно. Если бы кефир дурманил голову и скрашивал нашу поганую действительность, я бы, без сомнения, пил кефир.

— И этого я не понимаю, потому что ноги можно не мыть, но голову следует содержать в порядке и чистоте.

— А я так думаю, что наоборот: мыслящему человеку, чтобы не рехнуться, нужно с утра пораньше залить глаза. Я за последние годы столько пережил, передумал, такую замечательную веру потерял, что только в отравленном виде и способен существовать... Вы представляете: оказывается, бендеровцы — это совсем не бандиты с большой дороги, которых надо давить, как тараканов, а нормальные люди, воевавшие за свободу своей страны!

— Это точно, — сказал сосед. — То есть у нас нет ничего хуже, как веру потерять, потому что наша страна без религии не стоит. Мы обязательно должны во что-нибудь верить, хоть в коммунистический субботник, хоть в Судный день, иначе как созидатели и блюстители мы не стоим ломаного гроша. С другой стороны, тут, конечно, огромная личная трагедия — веру потерять, я это по себе знаю, поскольку сам терял, и не далее как полтора года тому назад.

— С какой же именно верой вы расплевались? — незаинтересованно спросил Саша.

— Да с нашей, православной, греко-российского образца! Много лет подряд только ею и жил, а потом как рукой сняло. Разумеется, из монастыря пришлось уйти, — это вопрос чести, — ведь я, знаете ли, монах, то есть был монахом полтора года тому назад...

— Как! — изумился Саша. — Разве у нас еще есть монахи?!

Сосед строго ответил:

— Есть.

Он допил свой кефир, обтер губы тыльной стороной ладони и продолжал:

— Стало быть, монастырь пришлось оставить, так как вера моя ушла. Начиналось все с мелочей, например, смущало, что у Христа были родные братья, что он неуважительно разговаривал с матерью, и еще эта притча насчет хлебов... То, что пятью хлебами можно накормить несколько тысяч человек, в это почему-то верится, но чтобы от них осталось двенадцать корзин огрызков — такого точно не может быть! Но вот в один прекрасный день мне явилось принципиальное соображение, которое в одночасье решило всё: именно, если в мире существуют только две церкви, то Бога нет! Вникайте: всего только два вероисповедания налицо, которые по-разному понимают Всевышнее и состоят в контрах друг с другом, как, например, православие и католицизм, и сразу понятно, что Бога нет!

Сосед аккуратно собрал со стола пальцами крошки от булочки и смял из них крохотный колобок.

— То есть единого Бога нет! Но в том-то все и дело, что Бог есть, что Всевышнее очевидно, как солнце, и для всех, кроме идиотов и большевиков! Из этого следует, что просто Бог не един, не триедин, а множественен в соответствии со всеобщим законом множественности, которому подчиняется даже Бог. Ведь в природе нет ничего единичного, потому и богов у нас равным счетом триста шестьдесят пять, по количеству дней в году.

— Не много ли будет? — спросил Саша Петушков язвительно.

— В самый раз. Таким образом, я закономерно вернулся к религии праотцов, называется она, как вы понимаете, язычество, и ничего юмористического я в этой вере не нахожу. Что же до нашего пантеона, то он включает в себя всех славянских богов, а также египетских, вавилонских, греческих, римских, плюс мы самосильно обожествили кое-кого из исторических личностей, среди них, например, Лейбниц и Лев Толстой...

Саше Петушкову пришлось прикусить язык, поскольку деваться ему все равно было некуда и он решил попроситься к язычникам на ночлег, резонно предположив, что его сосед-расстрига верховодит целой сектой религиозных фанатиков, а у секты есть что-нибудь наподобие штаб-квартиры, где при случае можно будет заночевать. Так оно и было, однако добирались они до места больше четырех часов — сначала рейсовым автобусом, затем попуткой, затем пешком.

В гости к язычникам Саша ехал с таким чувством, как если бы он давеча попросился на прием к Юрию Долгорукому, и поэтому увиденное не превзошло его ожиданий: в десяти километрах за деревней Зелеево, среди тайги, стоял бревенчатый дом в три связи, напротив него было выложено из валунов капище в виде круга, посередине которого торчали крашенные столбы, в стороне козы паслись, в дощатом сарайчике свиньи похрюкивали, где-то за фаланстером¹ надрывно кричал петух. Картина показалась Саше не особенно приветной, а впрочем, его так повелительно клонило в сон, что было не до красот. Он твердо решил чуть свет пуститься в обратный путь и не предвидел ни сном, ни духом, что застрянет в этом скиту на два с половиной года и освобождение придет, как это ни удивительно, через милицию и любовь.

Между тем расстрига ему сказал:

— Сейчас, как видите, у нас тихо, так как общинники на работах, а вечером ожидается соборная молитва, хороводы, песни, веселье без малого до утра. Только вот насчет спиртного у нас ни-ни!

Поначалу это языческое табу² помучивало Петушкова, ибо за время колымского босячества он слишком пристрастился к плодово-ягодному вину. Но потом дело пошло на лад: долго ли, коротко ли, он смирился с козьим молоком, научился есть вареную картошку с постным маслом и особенно полюбил свежесдобитый ржаной хлеб, от которого пахло чем-то несказанным, как материнский дух. Хороводы водить он первое время стеснялся, однако же мало-помалу стал проникаться языческим мироощущением, чему в значительной мере способствовала его природная вероспособность, развеселый характер новой религии и любовь к юной общиннице Вере Курепиной, которая захватила его всего. Единственно, Сашу еще долго смущал широкий языческий пантеон, и когда дело, наконец, дошло до дня памяти бога Лунина, он не выдержал и спросил у своего расстриги:

¹ Род казармы, в которых предполагал поселить сторонников своего социалистического учения Шарль Фурье.

² Слово, обозначающее запрет в переводе с полинезийского, которое давно вошло во все культурные языки.

— А Лунин-то тут при чем?!

Расстрига ему в ответ:

— А при том, что из всех декабристов это был самый мудрый и порядочный декабрист. Они, конечно, все святые, но Михаил Сергеевич Лунин — бог! Ведь что такое, в широком смысле этого слова, бог?.. Повелитель стихии, покровитель занятия, податель этического знания, — но это только с одной стороны... С другой стороны, бог есть источник мысли, на которую в своей практической деятельности опирается человек. Например, Христос — его день приходится, известно, на седьмое января — преподал людям великое нравственное учение, а Лунин в свое время вывел гениальнейшую мысль. Именно, он объявляет в знаменитых "Письмах из Сибири": все меня совершенно убеждает в том, что можно быть счастливым во всех жизненных положениях, и что в этом мире несчастны только дураки. Воля ваша, но такую мысль мог вывести только бог!

Вскоре расстрига разболелся не на шутку, и как-то так случилось само собой, что Саша Петушков постепенно вышел в общине на первые роли, а после сделался общепризнанным заводилой и вожаком. К тому времени он уже с год как жил с Верой Курепиной, но в этот раз роман обошелся без членовредительства и развивался

довольно мирно, по общегражданскому образцу. И все бы ничего, кабы не та загвоздка, что здешний батюшка, давно точивший зуб на языческую общину, не донес в районное управление внутренних дел о противозаконном сожительстве великовозрастного Петушкова с несовершеннолетней Курепиной, — милиция охотно завела уголовное дело, и Саша вынужден был бежать.

Он вернулся в Москву и не узнал родного города, точно его нечувствительным способом подменили или как будто его исподволь кто-то завоевал. Улицы были замусорены на манер пригородных пустырей, дома пооблупились, крыши проржавели и обнаружили седловидность, на каждом углу торговали бедняцким скарбом, народ заметно пообносился и смотрел дико, как сторожевые львы на воротах Английского клуба, и среди этого запустения разъезжали туда-сюда предлинные белые лимузины, навевавшие думу о бессерменах всепобедительного Бату¹.

Саша Петушков на первых порах почувствовал себя в Москве до того неприятно, что с неделю не выходил из дома и целыми днями слонялся по квартире от кухонного окна до входной двери и от входной двери до кухонного окна. Мать его к тому времени померла, с родней он не знался, напомнить о себе товарищам он посчитал бессмысленным, и поэтому ему показалось так одиноко в этом огромном угасающем полисе, словно он угодил в чужую эпоху, когда по Москве разъезжали ваньки² или когда вдруг окажется, что все разучились читать-читать. Замечательно, что во время этих скитаний от кухонного окна до входной двери и обратно он размышлял об одном и том же: все к лицу этому агонизирующему городу, и грязные тротуары, и облупившиеся дома, и воровские рожи, но только не прекрасная русская женщина, которая резко выпадает из ансамбля, поскольку, видимо, заслуживает иного жребия и судьбы.

¹ Сборщики налогов с жителей Русского улуса при Батые и его преемниках, от которых пошло наше “басурманин”.

² Собирательное прозвание городского извозчика на Руси.

В начале второй недели пребывания в Москве он вышел из своего дома на Плющихе, прогулялся до здания клуба завода “Каучук”, неизменно привлекая взгляды прохожих резиновой нашлепкой на правом глазу, и вдруг обратил внимание на афишу, извещавшую о лекции на тему “Частное предпринимательство в современной России”, и ни с того ни с сего решил на нее пойти.

Народу в зале собралось так мало, что, вероятно, для лектора это было даже и оскорбительно, однако сама по себе лекция совершила в жизни Саши Петушкова очередной кардинальный поворот. Из этого следует, что к афишам у нас тоже следует относиться сторожко, как к пьяным компаниям золотодобытчиков и случайным собеседникам, налегающим на кефир.

Главное, из лекции ему со всей неожиданностью открылось, что социалистические идеалы давно потеснены практикой эксплуатации труда капиталом и нынче каждый волен наживаться на безответных работягах и дураках. Это открытие потрясло Сашу, но еще чувствительнее его после задело то, что, оказывается, частная инициатива представляет собой единственный выход из тупика, сиречь осрамившегося по всем статьям социалистического способа производства, поскольку человек еще слишком несовершенен, чтобы в условиях общественной собственности на землю, заводы и недра трудиться с полной отдачей сил.

Тут-то Петушкова и осенило: если он настоящий патриот своей родины, то просто обязан попробовать себя на ниве частного предпринимательства и в меру возможного помочь родному человечеству выйти из тупика. Но каким именно манером надлежало на практике исполнить эту благородную миссию, он долго не мог сообразить. Все-то ему претило: и оптовая торговля, и сфера обслуживания, и валютные операции, и строительный подряд, и банковское дело, и частный сыск... Наконец, Саша Петушков набрел на блестящую мысль — он решил создать Банк русской яйцеклетки и широко экспортировать эту нежную субстанцию¹ за рубеж. Таким образом, он убивал трех зайцев сразу: во-первых, последовательно осуществляя свою затею, способствовал выходу России из тупика; во-вторых, обеспечивал выживание русского рода с женской незамутненной стороны, пересаживая драгоценные задатки в почву, благосклонную к росту, мужанию и житью; в-третьих, внедрял наше здоровое мятущееся начало в инородческую среду, отравленную материализмом, эгоизмом и пошлостью, которые составляют там генеральную линию бытия.

¹ Изначальное вещество (*лат.*).

Долго ли, коротко ли, Саша продал свою квартиру, зарегистрировал фирму, снял на Плющихе же небольшое помещение под контору, навел нужные знакомства в Институте акушерства и гинекологии имени Сеченова, набрал штат, развернул рекламную кампанию, и к концу девяносто второго года имя его сделалось небезызвестным в коммерческих, медицинских, уголовных и даже отчасти правительственных кругах. Пока суд да дело, он спал в конторе на раскладушке и питался нерегулярно и черт-те чем.

Не то чтобы заказы на русскую яйцеклетку немедленно посыпались в его адрес, но экстраординарность предложения до такой степени заинтриговала рынок, что в скором времени он купил себе приличный автомобиль. Впрочем, нервов, выдумки, энергии, средств, терпения он столько вгрозил в Банк русской яйцеклетки, что имел основания замахнуться на самолет. Он похудел на одиннадцать килограммов, нажил

легкий тик, издергался до того, что по ночам ему снились одни погони, и надышаться не мог на свое дело, как супруги в годах не могут надышаться на вымоленное дитя.

И вот как-то раз является к нему в контору невзрачного вида посетитель с тупым лицом и каким-то протухшим взглядом, без приглашения садится в кожаное кресло напротив и говорит:

— Будем делиться, господин Петушков, иначе тебе хана.

Саша справился:

— А вы, собственно, кто такой?

— Это без разницы. Пускай я буду ангел справедливости по фамилии Иванов.

— Ну так вот, господин Иванов: что-то я вашей претензии не пойму...

— А тут и нечего понимать! Каждый месяц будешь переводить на один счет двадцать пять процентов от своих доходов, и все дела.

— Хорошо. А справедливость-то тут при чем?

— При том, что у нас на выходе из Бутырок парится семнадцать человек братвы, и каждого нужно будет одеть-обуть. А где средства? Средств-то как раз и нет... Короче говоря, придется делиться, господин Петушков, иначе тебе хана.

Такая неслыханная наглость до того возмутила Сашу, что он сначала даже захлебнулся воздухом и, едва справившись с возмущением, заявил:

— Это мы еще посмотрим! На такие случаи, слава богу, милиция у нас есть!

— Блаженный ты, как я погляжу, — сказал мнимый Иванов. — Чего-чего, а милиции-то у нас нет...

Они препирались еще с четверть часа, и в конце концов Саша Петушков в резких словах потребовал, чтобы посетитель немедленно убрался вон. В результате этого опрометчивого требования бандит удалился, но той же ночью сгорел Сашин приличный автомобиль.

Наутро он сел за расчеты, имея в виду миром поладить с уголовниками, взявшими его предприятие в оборот: выходило, что, ежели исправно платить налоги, держаться на пяти процентах роста, вдвое ускорить оборачиваемость капитала и при этом отчислять уголовникам четвертую часть от прибыли, то убытки достигнут такой умопомрачительной цифры, что его фирма просуществует ровным счетом два месяца и шесть дней. Правда, можно было продать шесть фамильных соток в Снегирях и продержаться еще какое-то время в расчете на вмешательство милиции, но с последней недвижимостью он не захотел расставаться, отчего-то поверив бандитам на слово, что милиции, действительно, у нас нет.

Остаток дня Саша Петушков безвылазно просидел за своим рабочим столом, тупо уставившись в большой фотографический портрет экономиста Леонтьева, причем в голове у него витала одна и та же простая мысль: как мало, думал он, нужно для того, чтобы пошло прахом большое дело, на которое человек ухлопал всего себя; и что' какое-то коммерческое предприятие, когда судьба цивилизаций иной раз зависит от чепухи; например, трехсотлетняя Российская империя рухнула главным образом потому, что наследник Николай Александрович не в добрый час влюбился в одну из принцесс Гессенских, которые переносили гемофилию из рода в род¹.

¹ Как известно, наследственный недуг цесаревича Алексея Николаевича предопределил появление при дворе Григория Распутина, который, в свою очередь, навлек на режим Февральскую революцию и расчистил путь к власти большевикам. С другой стороны, этот медицинский случай таким образом отразился на характере нашего последнего государя, что он был гораздо больше отец, нежели государь.

У этой мысли имелся один особенно неприятный ракурс, именно Саше Петушкову подумалось стороной, что за время его скитаний потихоньку свершилась очередная русская революция, и к власти снова пришли низы. Оно бы и ничего, так как революции обыкновенно обновляют кровь нации и подвигают ее на сверхъестественные дела, кабы эти встряски не были более или менее случайны и кабы они не приводили к непредсказуемым последствиям, которые обусловлены той причиной, что низы существуют вне культуры, не знают морали и не исповедуют ни традиции, ни родства. Из этого логически вытекало: и нештатный социализм, навязанный России большевиками, и демократические свободы, неизбежно влекущие за собой разнузданную капитализацию экономики и разбой, глубоко неорганичны тому народу, который говорит — “Грех воровать, да нельзя миновать”. То-то у нас из всего получается ерунда: положим, ценой невероятных усилий ты нашел способ извлекать белки из атмосферы, но вот является посетитель с протухшим взором, и пошла твоя новация псу под хвост...

В конце концов, Саша Петушков остановился на заключении, что, видимо, идеальным устройством Российского государства следует считать то, которое существовало вплоть до весны 1917 года, именно, монархию с уклоном в социализм¹.

¹ Как известно, в России с времен Петра существовала бесплатная медицина, казеннокоштное образование вплоть до университетского, а на селе искони господствовала общинная форма землепользования и сложилась система социально-экономической защиты, которую давал мир.

В скором времени он продал фирму, разошелся с кредиторами, освободил помещение на Плющихе и уехал передохнуть от треволнений в свои любимые Снегири. Там, в маленьком бревенчатом домике с антресолями, он две недели размышлял, как жить дальше и чем бы себя занять. Имея некоторое представление о складе его ума, не приходится удивляться, что в результате он решил основать движение социал-монархической молодежи, опираясь на модель комсомольской организации, принцип офицерского собрания и отчасти на французскую поговорку “Лучшая новость — это отсутствие новостей”. Такое решение, на его взгляд, выливалось в прямое служение нации, обалдевшей от демократии и постепенно теряющей свое самобытное лицо из-за культа пошлости, насилия и рубля.

Известные средства у него оставались от Банка русской яйцеклетки, и даже немаленькие, так что технических сложностей не предвиделось никаких. Он зарегистрировал свое движение, снял помещение под штаб-квартиру на Никольской улице, во дворах, нанял штат, в частности, личную секретаршу Светлану Кротких, с которой у него потом был роман, развернул кампанию в печати, и к зиме девяносто четвертого года движение социал-монархической молодежи уже объединяло сто семьдесят человек.

На учредительном съезде, который состоялся весной того же года в пансионате “Березки”, что неподалеку от Ильинского, Саша Петушков говорил своим сподвижникам, сверкая единственным глазом и то и дело вздымая руки над головой:

— Как бы ни хорохорилась либеральная буржуазия, у которой все либеральные ценности сводятся к свободе грабить и надувать наш по-детски доверчивый народ, дело ее — табак! Почему мы имеем все основания надеяться на крах этого режима, основанного воров и буржуа? Потому что новая социалистическая революция неизбежна, потому что русский человек все простит, но только не торжествующего уголовника, но только не роскошь за счет оскорбительной нищеты! Особенно обидно, что ведь опять у государственного руля те, кто был ничем: адвокатишки на побегушках, завсегда там мест лишения свободы, конторские крысы, младшие научные сотрудники и прочая шантрапа... Иное дело, история показывает, что раз наш народ в который раз допустил до власти оторванный элемент, то ему воли давать нельзя. Да и не нужна ему эта самая воля — вот в чем огромное преимущество русского человека перед европейцем, — ему только нужно, чтобы его не трогали, вот и все! Реплика с места:

— Однако же, демократические свободы — это тебе не баран чихнул!

Саша Петушков с готовностью отвечал:

— В том-то все и дело, что до второй буржуазной революции русский человек был свободен, как никогда! Это разным писакам не давали выводить больше одного подлеца на страницу, а народу всегда была обеспечена крыша над головой, кусок хлеба и три недели в Сочи, хоть ты палец о палец не ударяй! Именно потому, что наш Иванов был едва занят на производстве и государство избавило его от головной боли, как бы исхитриться заплатить за телефон, он в кино ходил, книжки читал, сочувствовал угнетенным, занимался в самодеятельности и выписывал сто газет. Вот к этому-то строю жизни нам и предстоит вернуться, хотя того новые хозяева Российской Федерации или нет...

Вопрос с места:

— На практике-то это повторение выглядеть будет — как?!

— В общем и целом так... Во главе государства становится князь Иван Голицын¹, который положит начало новой династии и провозгласит цесаревной-наследницей старшую свою дочь. Законодательная инициатива будет принадлежать Государственному совету из тринадцати гениев — чего-чего, а тринадцать гениев мы в России всегда найдем. Деньги отменяются, как, в сущности, было и при советах, колхозы распускаются, промышленные предприятия переходят под рабочее управление, думцев отправим картошку копать, власть на местах представляет мировой сход...

¹ Имелся в виду Иван Илларионович Голицын, первостатейный художник, товарищ и семьянин.

Еще одна реплика с места:

— Наверное, думцы на такую пертурбацию не пойдут. Они скорее полстраны вырежут, чем уступят свои насиженные места!

— Ничего, заставим! Мы всех заставим плясать под социал-монархическую дудку, когда вокруг нашего знамени скопится весь народ! Но все-таки главная задача — это деньги отменить, поскольку данное мероприятие сразу снимет тысячу проблем, например, киллера нанять уже будет невозможно, потому что не на что будет его нанять...

Эти дебаты продолжались еще два дня, закончился учредительный съезд широкой пьянкой, Саша Петушков был, разумеется, избран вожак движения и получил исключительные полномочия, вскоре представительная делегация с ним во главе отправилась в Баден-Баден на празднование тысячелетнего юбилея дома Валуа, и тринадцать гениев на первых порах отыскивали без него.

Между тем движение социал-монархической молодежи день ото дня набирало силу, стала выходить еженедельная газета “Рюрик”, пожертвования стекались со всех сторон, так что Саша не мог надивиться, откуда в

России столько свободных денег, число сторонников уже приближалось к четырехзначной цифре, и даже сложилась своя военизированная организация, для которой в Таманской дивизии купили станковый пулемет. Но вот как-то раз заказывает Петушков ящик минеральной воды для внутреннего пользования, а напиток не несут что-то и не несут. Тогда он звонит своей секретарше Светлане Кротких, и через полчаса она ему сообщает, что, дескать, на банковском счете движения значится сто рублей. В другой раз он подумал бы, что тут какое-то недоразумение или ошибка, кабы не такое решающее обстоятельство: во всем помещении штаб-квартиры не оказалось ни одного сподвижника, все исчезало в неведомом направлении, и только одна Светлана рыдала в уголке, у кадки с королевской пальмой, размазывая по лицу слезы и макияж. Саша Петушков некоторое время посидел у себя в кабинете, тупо уставившись в большой литографированный портрет государя Александра III, а потом навсегда покинул помещение на Никольской и уехал в свои любимые Снегири.

В Москву он больше не возвращался; он прочно поселился в маленьком бревенчатом домике с антресолями и до сих пор предается занятию, на которое он напал, сам того не желая и невзначай. Рос у него под окнами куст крыжовника, и вот как-то раз — дело было в двадцатых числах августа — Саша мимоходом сорвал одну крыжовинку и сжевал. Вкус этой ягоды поразил его: точно вся гамма мыслимых ощущений соединилась в ее благоуханной мякоти, от привкуса поцелуя до электрического эффекта, немедленно нахлынули щемящие детские воспоминания, и в нос пахнуло чем-то одновременно и русским, и не совсем. Он сорвал другую ягодку и рассмотрел ее против солнца: глянцевая ее поверхность была покрыта еле заметным пухом, как кожа пятнадцатилетней девушки, а внутри светился жидкий янтарь и сидели две косточки, похожие на зародыши близнецов. С тех пор Саша Петушков ничем больше не занимался, кроме разведения крыжовника, и уже ничто его не волновало сильнее заморозков на почве, и не было врагов ненавистнее, чем огневка и вонючий садовый клоп.

На этом поприще Саша достиг со временем замечательных успехов, так, он вывел четыре новых сорта крыжовника в дополнение к семистам двадцати двум выведенным до него, стал почетным членом британского Эгтон-Бриджского общества селекционеров, добился плодоношения кустарника с последней декады июня по первые холода и так выгодно торговал саженцами, что ему вполне хватало на прожитие.

В своем саду он копался с утра до сумерек, и только когда солнце окончательно канет за горизонтом, обдав напоследок запад как бы золотом на крови, угомонится дачный поселок, птицы попрячутся, и одни порскают между темной землей и еще светлым небом летучие мыши, похожие на души покойников, Саша Петушков садился, подперев голову, на крылечко и задумывался о своем. Он вспоминал приключения молодости, как он скитался, любил, стремился, работал, страждал, и никак не мог решить одного недоразумения: а зачем...